

М. И. ЦВЕТАЕВА

ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКЕ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ц27

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Серийное оформление *А. Фереа, Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

В оформлении обложки использована картина
Джироламо Индуно «Плохое предчувствие», 1862 г.

В издании сохранены
орфография и пунктуация автора.

Цветаева, Марина Ивановна.
Ц27 Повесть о Сонечке : [проза] / Марина Ивановна
Цветаева. — Москва : Издательство АСТ, 2026. —
256 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-155156-8

«Повесть о Сонечке» Цветаева написала в эмиграции в память о своей подруге, актрисе второй студии Вахтангова Софье Голлидэй, с которой провела в Москве весну 1919 года. В этой автобиографической повести фигурируют многие известные люди столицы 1917–1919 годов, окружавшие Цветаеву: Евгений Вахтангов, Юрий Завадский, Павел Антокольский. Посвященные им стихотворения, а также цикл «Стихи к Сонечке», дополнили состав сборника.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-155156-8

© ООО «Издательство АСТ», 2026

Часть первая

ПАВЛИК И ЮРА

*Elle etait pâle — et pourtant rose,
Petite — avec de grands cheveux...*¹

Нет, бледности в ней не было никакой, ни в чем, все в ней было — обратное бледности, а все-таки она была — *pourtant rose*², и это своеместно будет доказано и показано.

Была зима 1918—1919 г., пока еще зима 1918 г., декабрь. Я читала в каком-то театре, на какой-то сцене, ученикам Третьей студии свою пьесу «Метель». В пустом театре, на полной сцене.

«Метель» моя посвящалась: — Юрию и Вере З., их дружбе — моя любовь. Юрий и Вера были брат и сестра, Вера в последней из всех моих гимназий — моя соученица: не одно-классница, я была классом старше, и я видела ее только на перемене: худого кудрявого девического щенка, и особенно помню ее длинную спину с полуразвитым жгутом волос, а из

¹ Она была бледной — и все-таки розовой, Малюткой — с пышными волосами (*фр.*).

² Тем не менее розовой (*фр.*).

встречного видения, особенно — рот, от природы — презрительный, углами вниз, и глаза — обратные этому рту, от природы смеющиеся, то есть углами вверх. Это расхождение линий отдавалось во мне неизъяснимым волнением, которое я переводила ее красотой, чем очень удивляла других, ничего такого в ней не находивших, чем безмерно удивляли — меня. Тут же скажу, что я оказалась права, что она потом красавицей — оказалась и даже настолько, что ее в 1927 г., в Париже, труднобольную, из последних ее жил тянули на экран.

С Верой этой, Вере этой я никогда не сказала ни слова и теперь, девять лет спустя школы надписывая ей «Метель», со страхом думала, что она во всем этом ничего не поймет, потому что меня наверное не помнит, может быть, никогда и не заметила.

(Но почему Вера, когда Сонечка? А Вера — корни, доистория, самое давнее Сонечкино начало. Очень коротенькая история — с очень долгой доисторией. И поисторией.)

Как Сонечка началась? В моей жизни, живая, началась?

Был октябрь 1917 г. Да, тот самый. Самый последний его день, то есть первый по окончании (заставы еще догромыхивали). Я ехала в темном вагоне из Москвы в Крым. Над головой, на верхней полке, молодой мужской голос говорил стихи. Вот они:

И вот она, о ком мечтали деды
И шумно спорили за коньяком,
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,
К нам ворвалась — с опущенным штыком!

И призраки гвардейцев-декабристов
Над снеговой, над пушкинской Невой
Ведут полки под переклик горнистов,
Под зычный вой музыки боевой.

Сам император в бронзовых ботфортах
Позвал тебя, Преображенский полк,
Когда в заливах улиц распростертых
Лихой кларнет — сорвался и умолк...

И вспомнил он, Строитель Чудотворный,
Внимая петропавловской пальбе —
Тот сумасшедший — странный — непокорный, —
Тот голос памятный: — Ужо Тебе!

— Да что же это, да чье же это такое, наконец?

— Автору — семнадцать лет, он еще в гимназии. Это мой товарищ Павлик А.¹

Юнкер, гордящийся, что у него товарищ — поэт. *Боевой* юнкер, пять дней дравшийся. От поражения отыгрывающийся — стихами. Пахнуло Пушкиным: *теми* друзьями. И сверху — ответом:

¹ Павел Григорьевич Антокольский (1896—1978) — русский советский поэт, переводчик и драматург, театральный режиссер (*примеч. ред.*).

— Он очень похож на Пушкина: маленький, юркий, курчавый, с бачками, даже мальчишки в Пушкине зовут его: Пушкин. Он все время пишет. Каждое утро — новые стихи.

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти,
Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть
Твои глаза...

— А это — из «Куклы Инфанта», это у него пьеса такая. Это Карлик говорит Инфанте. Карлик любит Инфанту. Карлик — он. Он, правда, маленький, но совсем не карлик.

...Единая под множеством имен...

Первое, наипервейшее, что я сделала, вернувшись из Крыма — разыскала Павлика. Павлик жил где-то у Храма Христа Спасителя, и я почему-то попала к нему с черного хода, и встреча произошла на кухне. Павлик был в гимназическом, с пуговицами, что еще больше усиливало его сходство с Пушкиным-лицеистом. Маленький Пушкин, только — черноглазый: Пушкин — легенды.

Ни он, ни я ничуть не смутились кухни, нас толкнуло друг к другу через все кастрюльки и котлы — так, что мы — внутренно — звякнули, не хуже этих чанов и котлов. Встреча была вроде землетрясения. По тому, как я поняла, кто он, он понял, кто я. (Не о стихах говорю, я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи.)

Простояв в магическом столбняке — не знаю сколько, мы оба вышли — тем же черным ходом, и заливаясь стихами и речами...

Словом, Павлик пошел — и пропал. Пропал у меня, в Борисоглебском переулке, на долгий срок. Сидел дни, сидел утра, сидел ночи... Как образец такого сидения приведу только один диалог.

Я, робко: — Павлик, как Вы думаете — можно назвать — то, что мы сейчас делаем — мыслью?

Павлик, еще более робко: — Это называется — сидеть в облаках и править миром.

У Павлика был друг, о котором он мне всегда рассказывал: Юра З. — «Мы с Юрой... Когда я прочел это Юре... Юра меня все спрашивает... Вчера мы с Юрой нарочно громко целовались, чтобы подумали, что Юра, наконец, влюбился... И подумайте: студийцы выскакивают, а вместо барышни — я!!!»

В один прекрасный вечер он мне «Юру» — привел. — А вот это, Марина, мой друг — Юра З. — с одинаковым напором на каждое слово, с одинаковым переполнением его.

Подняв глаза — на это ушло много времени, ибо Юра не кончался — я обнаружила Верины глаза и рот.

— Господи, да не брат ли вы... Да, конечно, вы — брат... У вас не может не быть сестры Веры!

— Он ее любит больше всего на свете!

Стали говорить Юрий и я. Говорили Юрий и я, Павлик молчал и молча глотал нас — вместе и нас порознь — своими огромными тяжелыми жаркими глазами.

В тот же вечер, который был — глубокая ночь, которая была — раннее утро, расставшись с ними под моими тополями, я написала им стихи, им вместе:

Спят, не разнимая рук —
С братом — брат, с другом — друг,
Вместе, на одной постели...
Вместе пили, вместе пели...

Я укутала их в плэд,
Полюбила их навеки,
Я сквозь сомкнутые веки
Странные читаю вести:
Радуга: двойная слава,
Зарево: двойная смерть.

Этих рук не разведу!
Лучше буду, лучше буду
Полымем пылать в аду!

Но вместо полымя получилась — Метель.

Чтобы сдержать свое слово — не разводите *этих* рук — мне нужно было свести в своей любви другие руки: брата и сестры. Еще проще: чтобы не любить *одного* Юрия и этим не обездолить Павлика, с которым я могла только «совместно править миром», мне нужно было любить Юрия

плюс еще что-то, но это что-то не могло быть Павликом, потому что Юрий плюс Павлик были уже данное, — мне пришлось любить Юрия плюс Веру, этим Юрия как бы рассеивая, а на самом деле — усиливая, сосредоточивая, ибо все, чего нет в брате, мы находим в сестре и все, чего нет в сестре, мы находим в брате. Мне досталась на долю ужасно полная, невыносимо полная любовь. (Что Вера, больная, в Крыму и ничего ни о чем не знает — дела не меняло.)

Отношение с самого начала — стало.

Было молча условлено и установлено, что они всегда будут приходить вместе — и вместе уходить. Но так как ни одно отношение сразу стать не может, в одно прекрасное утро телефон: — Вы? — Я. — А нельзя ли мне когда-нибудь прийти к вам без Павлика? — Когда? — Сегодня.

(Но где же Сонечка? Сонечка — уже близко, уже почти за дверью, хотя по времени — еще год.)

Но преступление тут же было покарано: нам с З. наедине было просто скучно, ибо о главном, то есть мне и нем, нем и мне, нас, мы говорить не решались (мы еще лучше вели себя с ним наедине, чем при Павлике!), все же остальное — не удавалось. Он перетрагивал на моем столе какие-то маленькие вещи, спрашивал про портреты, а я — даже про Веру ему говорить не смела, до того Вера была — он. Так и сидели, неизвестно что высиживая, высиживая единственную ми-

нута прощания, когда я, проведив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую голову, — да ничего, только взгляд: — да? — нет — может быть да? — пока еще — нет — и *двойная* улыбка: его восторженного изумления, моя — нелегкого торжества. (Еще одна такая победа — и мы разбиты.)

Так длилось год.

Своей «Метели» я ему тогда, в январе 1918 г., не прочла. Одарить одиноко можно только очень богатого, а так как он мне за наши долгие сидения таким не показался, Павлик же — оказался, то я и одарила ею Павлика — в благодарственную отместку за «Инфанту», тоже посвященную не мне — для Юрия же выбрала, выждала самое для себя трудное (и для себя бы — бедное) чтение ему вещи перед лицом всей Третьей студии (все они были — студийцы Вахтангова, и Юрий, и Павлик, и тот, в темном вагоне читавший «Свободу» и потом сразу убитый в Армии) и, главное, перед лицом Вахтангова, их всех — Бога и отца-командира.

Ведь моей целью было одарить его возможно больше, больше — для актера — когда людей больше, ушей больше, очей больше...

И вот, больше года спустя знакомства с героем, и год спустя написания «Метели» — та самая полная сцена и пустой зал.

(Моя точность скучна, знаю. Читателю безразличны даты, и я ими врежу художествен-

ности вещи. Для меня же они насущны и даже священны, для меня каждый год и даже каждое время года тех лет явлен — лицом: 1917 г. — Павлик А., зима 1918 г. — Юрий З., весна 1919 г. — Сонечка... Просто не вижу ее вне этой девятки, двойной единицы и двойной девятки, перемежающихся единицы и девятки... Моя точность — моя последняя, посмертная верность.)

Итак — та самая полная сцена и пустой зал. Яркая сцена и черный зал.

С первой секунды чтения у меня запылало лицо, но — так, что я боялась — волосы загорятся, я даже чувствовала их тонкий треск, как костра перед разгаром.

Читала — могу сказать — в *алом* тумане, не видя тетради, не видя строк, наизусть, на авось читала, единым духом — как пьют! — но и как поют! — самым певучим, за сердце берущим из своих голосов.

...И будет плыть в пустыне графских комнат

Высокая луна.

Ты — женщина, ты ничего не помнишь.

Не помнишь...

(настойчиво)

не должна.

Страннице — сон.

Страннику — путь.

Помни! — Забудь.

Она спит. За окном звон безвозвратно удаляющихся бубенцов.

Когда я кончила — все сразу заговорили. Так же *полно* заговорили, как я — замолчала. Великолепно. — Необычайно. — Гениально. — Театрально и т. д. — Юра будет играть Господина. — А Лиля Ш. — старуху. — А Юра С. — купца. — А музыку — те самые безвозвратные колокольчики — напишет Юра Н. Вот только — кто будет играть Даму в плаще??

И самые бесцеремонные оценки, тут же, в глаза: — *Ты* — не можешь: у тебя бюст велик. (Вариант: ноги коротки.)

(Я, молча: — Дама в плаще — моя душа, ее никто не может играть.)

Все говорили, а я пылала. Отговорив — заблагодарили. — За огромное удовольствие... За редкую радость... Все чужие лица, чужие, т. е. ненужные. Наконец — он: Господин в плаще. Не подошел, а отошел, высотой, как плащом, отъединяя меня от всех, вместе со мною, к краю сцены: — Даму в плаще может играть только Верочка. Будет играть только Верочка. *Их дружбе — моя любовь?*

— А это, Марина, — низкий торжественный голос Павлика, — Софья Евгеньевна Голлидэй, — совершенно так же, как год назад: — А это, Марина, мой друг — Юра З. Только на месте *мой друг* — что-то — проглочено. (В ту самую секунду, плечом чувствую, Ю. З. уходит.)

Передо мною маленькая девочка. *Знаю*, что Павликина Инфанта! С двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками.

Передо мною — живой пожар. Горит все, горит — вся. Горят щеки, горят губы, горят глаза, несгораемо горят в костре рта белые зубы, горят — точно от пламени выются! — косы, две черных косы, одна на спине, другая на груди, точно одну костром отбросило. И взгляд из этого пожара — такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!

— Разве это бывает? Такие харчевни... метели... любви... Такие Господины в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы уехать навсегда? Я всегда знала, что это — было, теперь я знаю, что это — есть. Потому что это — правда — было: вы, действительно, так стояли. Потому что это *вы* стояли. А Старуха — сидела. И все знала. А Метель шумела. А Метель приметала его к порогу. А потом — отметала... заметала след... А что было, когда она завтра встала? Нет, она завтра не встала... Ее завтра нашли в поле... О, почему он не взял ее с собой в сани? Не взял ее с собой в шубу?..

Бормочет, как сонная. С раскрытыми — дальше нельзя! — глазами — спит, спит наяву. Точно мы с ней одни, точно никого нет, точно и меня — нет. И когда я, чем-то отпущенная, наконец, оглянулась — действительно, на сцене никого не было: все почувствовали или, вос-

пользовавшись, бесшумно, беззвучно — вышли. Сцена была — наша.

И только тут я заметила, что все еще держу в руке ее ручку.

— О, Марина! Я тогда так испугалась! Так потом плакала... Когда я вас увидела, услышала, так сразу, так безумно полюбила, я поняла, что вас нельзя не полюбить безумно — я сама вас так полюбила сразу.

— А он *не* полюбил.

— Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я вас люблю. А его я презираю — за то, что не любит вас — на коленях.

— Сонечка! А вы заметили, как у меня тогда лицо пылало?

— Пылало? Нет. Я еще подумала: какой нежный румянец...

— Значит, внутри пылало, а я боялась — всю сцену — весь театр — всю Москву сожгу. Я тогда думала — из-за него, что ему — его — себя, себя к нему — читаю — перед всеми — в первый раз. Теперь я поняла: оно навстречу вам пылало, Сонечка... Ни меня, ни вас. А любовь все-таки вышла. Наша.

Это был мой последний румянец, в декабре 1918 г. Вся Сонечка — мой последний румянец. С тех приблизительно пор у меня начался тот цвет — нецвет — лица, с которым мало вероя-

тия, что уже когда-нибудь расстанусь — до последнего нецвета.

Пылание ли ей навстречу? Ответ ли ее короткого бессменного пожара?

...Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку.

— Сонечка, откуда — при вашей безумной жизни — не спите, не едите, плачете, любите — у вас этот румянец?

— О, Марина! Да ведь это же — из последних сил!

Тут-то и оправдывается первая часть моего эпиграфа:

Elle etait pâle — et pourtant rose¹

То есть бледной — от всей беды — она бы быть должна была, но, собрав последние силы — нет! — пылала. Сонечкин румянец был румянец героя. Человека, решившего гореть и греть. Я часто видала ее по утрам, после бессонной со мною ночи, в тот ранний, ранний час, после поздней, поздней беседы, когда все лица — даже самые молодые — цвета зеленого неба в окне, цвета рассвета. Но нет! Сонечкино маленькое темноглазое лицо горело, как непогашенный розовый фонарь в портовой улич-

¹ Она была бледной — и все-таки розовой... (фр.)